

Содержание

Дмитрий Быков Сирота

7

Улица Красных Зорь

21

Чок-Чок

87

Муха у капли чая

243

Ступени

311

Дмитрий Быков Сирота

Уважаемые читатели! Обычно, когда появляются книжки с предисловиями, критик сосредотачивает все свое внимание именно на предисловии — полемизирует с ним, соглашается, негодует. Все это происходит потому, что ему лень читать остальное, а в предисловии он находит как бы краткий конспект книги. Так вот, убедительная просьба при рецензировании этого сборника (а если вы не критик, то просто при его чтении) обратить главное внимание на тексты, хотя читать их гораздо труднее. Вы почти наверняка ознакомитесь с ними впервые: тут собран Горенштейн малоизвестный.

Ведь штука в чем? Когда люди говорят о Прусте, они всегда вспоминают про бисквит в липовом чае, а об “Улиссе” — о том, что Блум любил почки. Это потому, что они дальше ничего не читали. Это предисловие написано только для тех, кто ничего о Горенштейне не слышал, или слышал, но думает, что это сценарист “Соляриса”, и только. Всем остальным читать это предисловие не нужно, а полемизировать с ним — тем более. К тексту, к тексту, ребята. Чтение мучительное, но целительное.

1 Однажды в гостях у Ирины Павловны Уваровой, вдовы Даниэля, во время очередного приезда Синявских (году, кажется, в 1994-м), разговор зашел о Горенштейне, и я признался, что никогда его не видел, а очень хочется.

“Сейчас увидите”, — сказала Уварова и принесла какую-то маску из папье-маше. Все захохотали и захлопали: точно, точно!

У “бумажного Горенштейна” было выражение брюзгливое и даже, пожалуй, злое, но вместе с тем жалобное, почти умоляющее.

Я думаю, что читатель, у которого хватило бы терпения прорваться через поток горенштейновской ярости, скажем, в его поздней публицистике, — услышал бы за этой ветхозаветной яростью слезы бесконечно-одиоичества и неприкаянности.

Сам Горешнтейн об этой особенности своей души — потоке отчаяния подо льдом ненависти — писал в “Улице Красных Зорь”, самой слезной и мучительной своей повести, написанной с истинно платоновской мощью: “Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось”.

“Улица Красных Зорь”, давшая название всему сборнику, нечасто переиздаваемая, одна из горенштейновских вершин, — вообще его духовная автобиография, групповой автопортрет (вроде, я думаю, лермонтовской “Тамани”, где автор отражен в трех зеркалах — он и Печорин, и девушка, сочиняющая песни, и слепой мальчик, всех любящий, всеми брошенный). Тоня, девочка-детдомовка, главная героиня, — это горенштейновский опыт жизни в любящей семье

и детдомовских мук после смерти родителей; Мендель — еврей, проживший всю жизнь среди русских, принятый вроде за своего, но глубинно никогда не свой; ссыльная аристократка Раиса — горенштейновская злоба и отчаяние, а Ульяна — чистая и певучая душа его, и голос этой души иногда слышится в его текстах. А почему эта проза так редко издается, так немногими любима — так ведь и это ясно. После нее и жить, и писать трудно: планка задана высокая, да и вещи сказаны жестокие.

Горенштейн умер в 2002 году за две недели до своего семидесятилетия. За пятнадцать прошедших лет его “место” почти не изменилось: статус классика он обрел при жизни, когда в начале девяностых вышел его русский трехтомник и была поставлена пьеса “Детубийца” (а в 2014 году и “Бердичев”), — любой, кто прочел “Место” и в особенности “Искушение”, в этом статусе не сомневался.

Горенштейн — человек ниоткуда, и биография его — при внешней стандартности — нетипична. Всю жизнь он существовал не только вне поколения, вне любых институций, но и вне русской литературной традиции, которую принято называть гуманистической — хотя, как мы убедились, с тем же правом можно назвать и имперской.

Рано осиротев (отца, экономиста, взяли в 1935 году, в 1937-м — расстреляли; мать, директор детдома, умерла в 1943-м по дороге из эвакуации), он всю жизнь прожил сиротой, и взгляд его на мир — сиротский. Не следует думать, что сироты обязательно бедные и добрые. Они хищные, иначе им не выжить; они памятливые и мстительные, и только на самом дне их души живет тоска по прежней жизни, по родителям, которых они еле помнят, по дому с башенкой, в котором их ждало спасение. (“Дом с башенкой” — единствен-

ный опубликованный в СССР до эмиграции рассказ Горенштейна, запомнившийся всем читателям тогдашней “Юности”.) Сирота всю жизнь опасливо оглядывается, никому не верит, каждого встречного рассматривает с единственной точки зрения — насколько он опасен и как его можно использовать. Ключевое слово в прозе и биографии Горенштейна — “Место”, не зря так называется главный его роман, книга жизни: выгрызанием этого места занят его несимпатичный протагонист Цвибышев — и сам автор тоже не находил себе места ни в одном стане.

Это сиротство Горенштейна сказалось и в том, что он не примыкал ни к одному движению и направлению, а участие в единственной за всю жизнь коллективной затее — альманахе “Метрополь” — считал ошибкой. Как говорит Ульяна в “Улице Красных Зорь”: “Я живу одна, а они живут всем скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом”. И как учит нас опыт, из этой одинокой жизни можно сделать повод для гордости и даже творческий метод, — но слёзы-то никуда не денешь. И как писала Петрушевская — самый близкий ему автор, сошедшая с ним в первом букеровском шорт-листе и тоже обнесенная наградой: “А все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело”.

Он и в кругу писателей не очень-то прижился, выживал среди кинематографистов (Тарковский, Кончаловский), хотя первыми читателями были Трифонов, Нагибин, Б.Хазанов, критики Сарнов и Лазарев. Среди шестидесятников его представить невозможно, среди догматиков-антикоммунистов, упорных диссидентов, — тоже. Догма — вообще не про Горенштейна, и не сказать при этом, что он человек без мировоззре-

ния: мировоззрение наличествовало, но не вписывалось ни в какие рамки, даже в религиозные.

Горенштейн — человек ветхозаветного, жестковейного, мстительного сознания, но это ветхозаветность без Родины, без корней; он — обреченный и одинокий представитель великого племени, законник и пророк, носимый ветром, иудей после Холокоста и после советского опыта, иудей-чернорабочий, постоялец общежитий, иудей-выживалец. Это не то чтобы корректирует изначальные установки, но заставляет задуматься об их участии в мире.

Горенштейн смотрел на мир глазами потерянного ребенка, пущенного из милости жилья, который одновременно благодарит и ненавидит своих благодетелей; глазами бездомного, озирающего бесконечные ряды освещенных городских окон — он страстно мечтает оказаться в одной из этих комнат и так же страстно ненавидит эти комнаты; это взгляд обманутого и обобранного, оскорбленного и зачумленного, и смотреть на мир таким взглядом нельзя — но нельзя и не признать, что многие вещи можно рассмотреть только под этим углом. Мне трудно представить читателя, который, прочитав “Попутчиков”, “Чок-Чок” или “Искушение”, не признает автора писателем исключительной, можно сказать — гениальной одаренности; но еще трудней представить читателя, который наряду с благодарностью и осознанием авторского величия не испытает раздражения. Потому что, как сказал Горацио, “рассматривать так — значило бы рассматривать слишком пристально”.

2 Горенштейновская концепция человека поражает сочетанием сострадания, преклонения и брезгливости. В самом деле, моральные критерии, ко-

торыми Горенштейн поверяет поступки и даже мысли своих героев, — исключительно серьезные, библейски грандиозны, но в то же время человек Горенштейна жалок, склонен к разного рода слабостям, а иногда и зверствам; кажется, на проект “Человек” Горенштейн смотрит еще скептически, чем большинство послевоенных мыслителей, навеки ушибленных ужасами XX века. Шаламов, например, был хотя бы атеистом, — а представьте себе такого Бога, который допустил или по крайней мере запустил все это? Но для Горенштейна XX век — органичное продолжение всей предыдущей истории человечества, в которой, собственно, ничего другого и не было: сплошное избиение младенцев под разными предлогами. И уж конечно, Горенштейн совсем не гуманист, по крайней мере в современном понимании. Как сказано в “Мухе у капли чая”: “Опять его подвел дух современного гуманизма, мало общего имеющий со своим родоначальником из Ренессанса. Дух, ведущий не к укреплению, а к разрушению личности через раздачу себя хитрым нищим, через коллективизацию мировых ценностей, дух, обрекающий на поражение сильных и обрекающий на победу слабых, дух вырождения”. Какое-то почти нищезанятие, причем в горьковской его интерпретации, что-то прямо из рассказа “О первой любви”: “Впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать беспомощное существование осужденных на гибель”. Чистый Ницше, да? Но Горький-то в 1922 году еще не знал, чем кончается Ницше, а Горенштейн — знал. И вот поди ты выбери: гуманизм — вырождение, нищезанятие — фашизм... Нет,

человек по Горенштейну, — неудачный, положительно неудачный проект! “Нарушено соотношение огня и глины”, как писал Леонид Леонов — которого Горенштейн скорее всего никогда не открывал.

Можно, конечно, отделаться замечанием, что во всем виновата плоть, а дух-то у нас ого-го, и “Чок-Чок” как будто дает некоторые основания для такого взгляда. Вещь эта так отпугивала издателей, что из всех толстых журналов ее решили опубликовать только “Искусство кино”, опекавшее Горенштейна, так сказать, из профессиональной солидарности (его легальная профессия — кинодраматург, в СССР он был известен исключительно как соавтор сценариев “Солариса”, “Рабы любви” и “Седьмой пули”, плюс не обозначенные в титрах монологи Рублева в фильме Тарковского; в эмиграции он этого дела не оставлял, написал отличные кинороманы об Унгерне и Шагале, но их до сих пор не поставили). Потом, правда, эта повесть вышла отдельной книжечкой в издательстве журнала “Звезда”, в серии “Художественно-Уникальные Издания”.

Можно подумать поначалу, что “Чок-Чок” — именно о бремени плоти, о том, как отвратительно то, что мы называем страстью; но и любовь в самом ее чистом виде ничуть не лучше. История чистой любви героя к юной чешской балерине ничуть не краше, да больше того — она еще смешней. Редкий читатель забудет фразы типа “Пусть у тебя будет красный живот” или “Ты лижешь, как тля краве” (иногда кажется, что такого и не выдумаешь). Человек у Горенштейна жалок почти всегда — когда любит, когда надеется, даже когда пишет (стоит вспомнить оголтелую графоманию героя “Попутчиков” и, для полноты чувств, первую фразу оттуда, цитировать не буду специально, в сети все доступно).

Неудачный проект — вторая по значимости тема Горенштейна (тесно связанная с первой, то есть с поисками места); и действительно, глядя с известной высоты — с той высоты, с которой смотрит, например, Дан, Аспид, Антихрист из романа “Псалом”, — нельзя увидеть ничего иного. Причина стойкого недоверия Горенштейна к христианству, дух которого ощущается у него очень редко, а может, и не ощущается вовсе, разве что в сентиментальном рассказе “С кошелочкой”, да и там он снижен иронией, — именно в этом: он против того, чтобы давать челоовечеству иллюзии насчет его значимости и тем более добродетелей. Сплошная органика, иногда мыслящая, но по большей части дрожащая. И даже герои “Бердичева” — самого нежного и ностальгического его произведения, написанного с бабелевской речевой чуткостью, — вызывают отнюдь не умиление — положим, Горенштейн способен любить их, и даже не отделять себя от них, но эта любовь приправлена изрядной долей скепсиса, уксуса, желчи.

Рискну предположить, что весь мир у Горенштейна делится на евреев и антисемитов — не по национальному, конечно, и даже не по религиозному признаку; антисемиты не вызывают ничего, кроме ненависти, а евреи на каждом шагу предают свою богоизбранность и описываются с насмешливым состраданием. И когда речь идет о русских или немцах — скажем, в двухтомном романе “На крестцах”, — деление примерно то же, только в функции евреев выступают одионочки, изгои, творцы, летописцы. И они по большому счету недалеко ушли от своих мучителей. (В кинодраматургии Горенштейна — скажем, “Под знаком тибетской свастики”, — этот взгляд на вещи тоже присутствует, но там Горенштейн честно решал профессиональную задачу; для себя он писал жестче.)

Особая тема — его отношение к русским, к русскому характеру и культуре; по нынешним временам его, пожалуй, еще и запишут в русофобы, забывая, что о сострадании, силе, сердечном веселье русских, о неискаемом милосердии русских женщин и великолепном бесстрашии мужчин он написал едва ли не лучше всех современников. Но о русских он пишет как равный, а не как чужак, пытающийся подольститься. Он имел право на горькие слова, вложенные им, правда, в уста несимпатичной героини, вдобавок припадочной, — Раисы из “Улицы Красных Зорь” (Леонов говорил Чуковскому: отдавайте заветные мысли отрицательным героям, тогда выживете): “Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе... Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая”. Под горячую руку и не такое скажешь, но не забудем, что проза Горенштейна — стихия русской речи, ее мощная река, и ритм, дыхание ее — не просто русские, а фольклорные, и основные мотивы — рок, предзнаменование, ожидание, — тоже фольклорные, и при всем своем знаменитом местечковом выговоре Горенштейн писал по-русски органичнее всех в своем поколении, потому ему так удавался сказ.

Трудно вообще ответить, кто на него повлиял, — он как бы писатель без корня, без предшественника, потому что никто не бывал на его месте и не прошел по его адским кругам; пожалуй, он наряду с Окуджавой — чьи предшественники тоже неочевидны, — мог бы назвать своим учителем фольклор. И символично, что оба эти создателя подлинно народных текстов — один сочинял народные песни, другой писал страшные и грустные народные сказки, — были настолько вне народа, так упорно и заслуженно слыли одиночками. Одиночками они и были, потому что народные

песни поются скопом, а пишутся изгоями. Горенштейн — народный писатель без народа; народу долго еще дорасти до него, но дорастет, куда денется. Об этой “народности без народа” сам он исчерпывающе сказал в “Мухе”: “Стоит русскому сойти с ума, как он становится испанцем, наподобие гоголевского Поприщина. Однако же испанцем без Испании, где крайности радости и страдания имеют свою национальную психологическую основу”. Горенштейн такой основы не имел — это отравило его жизнь, но сделало его гением. А сколько их остальных развелось с основой — не продохнуть.

ЗНесколько особняком в корпусе его сочинений стоят “Ступени” — та самая повесть, которую он отдал в “МетрОполь” и потом раскаивался. Получилось так, что “МетрОполь” составлялся по остаточному принципу: туда давали всё, что не печаталось здесь, но и то, что было слишком маргинальным, или безумным, или экзотичным, чтобы напечатать “там”. Получился интересный срез позднесоветского безумия — заведомо несценичная, издевательская пьеса Аксенова, черно-иронические рассказы Искандера, наиболее радикальные эксперименты Вознесенского.

“Ступени” — вещь гротескная, даже, пожалуй, абсурдистская, но она лучше всего передает страшную духоту поздних семидесятых, хотя и написана в 1966 году. Это время религиозных увлечений и паранормальных экспериментов советской интеллигенции — спиритизм, описанный у Трифонова, йога, описанная у Высоцкого, пророки и самозванные целители, зафиксированные в маканинском “Предтече”, — презрительно и насмешливо описано в замечательном романе Владимира Кормера “Наследство”, вещи столь ядовитой,

что и диссиденты его приняли настороженно. Об этом же пишет Мамлеев, сам — порождение той эпохи, создатель “Южинского кружка”; и вот “Ступени” — как раз про это. Это уродливая вещь об уродстве (и юродстве), о том, в какие больные формы воплощается подпольная вера, как выглядит подпольное народничество, во что вообще обратилась русская интеллигенция в условиях тотального запрета. Многое здесь предугадано, вплоть до “оскорбления чувств верующих”. Здесь много бреда, безумия, навязчивых идей, это по-настоящему больная книга, самая мамлеевская у Горенштейна, книга о том, как умирает русская душа — Зина; но эта душа такая юродливая, такая затравленная, что и сострадать ей трудно. Все герои производят впечатление либо безумных, либо слепых, либо глухонемых — да так оно и есть: безумен главный герой, в монастыре живет и работает артель глухонемых, а слепец доказывает всем, что слепота — идеальное состояние, а зрение только мешает восприятию красоты. Всё это на фоне всеобщей сексуальной озабоченности, ибо иных проявлений творческого начала не осталось. Герой “Ступеней”, врач, говорит, что кончилось время воздуха и наступило время желчи; желчь и дальше будет преобладать в воспоминаниях Горенштейна о Родине, и после “Ступеней” особенно ясно, что не покинуть ее он не мог.

Очень может быть, что “Муха у капли чая”, где человек, по определению Жоржа Нивá, “восемь лет провел в рабстве у злой и истеричной женщины”, — тоже духовная автобиография, и сам автор, проведя в рабстве у России большую часть жизни, на свободе оказался в еще более безвыходном положении. И описывая свою российскую жизнь, Горенштейн, может стать, был прав: “Теперь, с многолетним опозданием, он понимает свою ошибку, неизбежную ошибку христиа-

нина-миссионера, пытающегося проповедовать там, где нужна лишь лопата могильщика”. Кто из русских, особенно в нынешние, уже пост-горенштейновские, но предсказанные Горенштейном времена, — не думал иногда так? (Весьма интересно, что действие этой повести происходит душливым летом 1972 года — тогда же, когда и трифоновский “Старик”: многим запомнилась та жара, многим внушила апокалиптические мысли. “Горит земля под ногами”, как говорит в “Мухе” та самая истеричка.) Это же точно о нынешней России сказано: “В решающий момент ей легче снять с себя тысячелетние наслоения культуры, если того требует подлинный Хозяин, зовущий ее из Бездны”. По Горенштейну, подлинный хозяин — женщины и России — обитает в бездне, и надо ли уточнять, как его зовут? Проблема в том, что после избавления от женщины — или Родины, — герой Горенштейна попадает в еще более глубокие бездны, и хотя творческая жизнь его как бы налаживается (именно как бы, потому что его продолжают не понимать и вдобавок цензурировать), но покоя нет ему и там. “Зеленый стебель легенды”, который предлагает ему в финале Горенштейн, — утешение сомнительное.

Пожалуй, самый наглядный пример горенштейновского стиля и взгляда — не фрагменты из прозы, а вот такой пассаж из одного позднего памфлета: “Считается, что послевоенная Боннская республика — образец преодоления своего прошлого, и должна служить примером другим странам, в частности, России в ее преодолении сталинизма. Нет ничего более далекого от истины. Боннская республика как раз может служить примером того, как это свое прошлое можно умело, даже талантливо, скрыть. То есть, что значит “скрыть”? Это значит разоблачать его по-своему, менять точку зрения, переставлять акценты. (...) В роко-

те громкого разоблачительного гнева чуткое ухо может уловить сопутствующий шепоток: немецкий народ, массовый Michel в солдатской шинели к этим лагерям никакого отношения не имеет. Можно обратить внимание еще на один метод разоблачения своего прошлого, применяемый с аденауэровских времен: объединение своих жертв с чужими. Своеобразная игра в “ничью”. А при умелой расстановке акцентов тут можно получить даже перевес. (...) Для международного гитлеризма Германия по-прежнему остается “святой землей”, “коричневой Палестиной”. И немцы должны это понять. И немцы должны жить с этим, как человек живет со своими хроническими болезнями. Если Франция может переварить существование Национального Фронта, то Германия себе такой “роскоши” позволить не может, даже ради существования демократических свобод. Однако позволяла и позволяет”.

Правда ведь, как вчера написано? И завтра будет еще актуальней! А посетил бы Горенштейн (он всегда приезжал с неохотой, но не мог вовсе оторваться от России) нынешнюю Москву, или нынешний свой родной Киев, — что бы он увидел и что бы подумал?!

Надо только перестать наконец утешаться, что литературу можно делать из компромиссов; нельзя. Пусть даже литература, получившаяся без компромиссов, будет находить своего читателя годами; скажем, последний роман Горенштейна “Веревоочная книга” не только до сих пор не опубликован, но и элементарно не расшифрован (именно так, расшифровкой, называется процесс чтения его трудночитаемого почерка). Горенштейн — это первоклассный, не будет преувеличением сказать — великий писатель; но чтение его — ни минуты не скучное — остается тяжким трудом, мучительным преодолением собственных страхов; да,

ни в чем не уступая знаменитым современникам, а кое в чем их решительно превосходя, он остается по-прежнему далек от массового читателя. Да, в России его теперь уже печатают и цену ему знают, и эта книга, будьте уверены, тоже не будет пылиться на полках. Да, смотреть на мир с точки зрения ничего не прощающего сироты, мальчика из разбомбленного эшелона 1941 года, — невыносимо; но очень может быть, что именно такой взгляд на мир по-настоящему правдив. Вы скажете, что с таким взглядом на вещи жить нельзя; это не совсем точно. Счастливо жить нельзя, легко — тоже; но кто вам сказал, что жить вообще надо легко?

...Иногда я думаю: что, если после смерти действительно есть рай или ад, — неужели Горенштейн не заслужил рая после всего, что здесь перенес? Неужели там его не встретят отец и мать, и не кончится его многолетнее невыносимое сиротство? Но с другой стороны, после такого опыта, — есть ли хоть какое-то иное “место”, где он мог бы утешиться, примириться и простить?

То-то и оно.

Улица Красных Зорь

1

Улица Красных Зорь была главная и единственная в поселке. От нее отходили неглубокие тупички в несколько домов каждый. В ширину поселку расти некуда было. С одной стороны — железная дорога, узкая колея от мочально-рогожной фабрики, рядом с ней — грунтовка, а за дорогами — лес, сосняк-брусничник на сухом песке. Другая сторона была речная, и крайние дома тупичков стояли на обрывистом берегу реки Пижмы. За Пижмой, на суглинистой влажной почве, — сосняк-черничник. Этот лес был пострашней, и ходить туда за черникой в одиночку, без поселкового народа, было опасно. Чем далее, тем угрюмей становилось, и деревья выше, сильнее: сибирская лиственница, кедр, пихта — деревья таежные. В самой чаще лес заболочен, почва торфяная, и из мхов, из лесных злаков росли ели, ольхи, березы, осины, хвощи, осоки. Но это совсем уж далеко от улицы Красных Зорь, и Тоня о тех страшных местах только слыхала, однако никогда там не была, хоть в поселке на улице Красных Зорь жила давно, лет шесть, с тех пор как родилась.

Тоне казалось, что в болотистых местах и прячется самое страшное слово для поселковых — амнистия.

Поселок был последним пунктом, ближе которого ссыльных к Москве не пускали, и, когда случалась амнистия, начинались грабежи и убийства. Другое страшное слово — война — было далеко, на краю света, и могилы военные были далеко. Вместо убитого человека присылали бумажку, и взрослые эту бумажку оплакивали. А амнистия жила хоть и далеко от улицы Красных Зорь, однако в этой местности, в болотистой чаще, и жертв ее хоронили в сосновых и еловых гробах на поселковом кладбище у сосняка-брусничника. К тому ж амнистия пришла тогда, когда война кончилась и стала неопасной. Сама Тоня, правда, амнистии не помнила, но слышала, как взрослые — Тонина мама Уля, и тетя Вера, и муж тети Веры дядя Никита — вспоминали про кассира с мочально-рогожной фабрики, которого нашли в Пижме без головы, и про семью Ануфриевых, которую зарезали и обокрали. Зарезали всех, кроме парализованной бабушки. С бабушки только сняли одеяло, вытащили из-под головы подушку, а из-под бабушкиного тела — простыню. Но когда амнистированных переловили, время стало спокойное, хоть и голодное.

С тех пор как Тонин отец уехал от них, мама Тони и трехлетнего Давидки работала на станции, мыла товарные вагоны. Уйдет — оставит на столе миску с пареной свеклой, а рядом — чугунок с соленой водой. Поедят дети свеклы, попьют соленой воды и лезут на печку. Как и во всех поселковых домах, в Тонином доме была большая русская печь с лежанкой. А меж окон висело зеркало, в которое Тоня любила смотреть, и на зеркале — много бус, нанизанных на нитку, красивых, разноцветных, которые Тоня любила перебирать. На подоконнике стоял цветок в горшке, который весной красиво расцветал, а в углу висела балалайка с красным бантом. Балалайка досталась Тониной маме от ее отца, дедушки Григория.

Тонина мама, Ульяна Зотова, была поселковая красавица и певунья. Тоня любила, когда мама в сорочке до пола расчесывала перед зеркалом свои светло-русые косы гребнем пепельного цвета с ручкой, а она, Тоня, сидела рядом, прижимаясь к теплому мягкому материнскому телу. К Ульяне Зотовой многие сватались в поселке, но вышла она замуж за Менделя, рыжего еврея из сосланных, и родила от него двоих детей. Мужа она любила и, когда была в хорошем настроении, то звала — Мендель. Но когда ссорилась с ним или была в плохом настроении, то звала Миша. Работал Мендель шофером на мочально-рогожной фабрике, начальство его уважало, поскольку был он умеренно пьющий, и после того, как кончился срок его ссылки, предоставило ему оплаченный отпуск. Мендель уехал к себе на родину, на Украину, потом вернулся, увидел здешнюю нищету, от которой он за месяц жизни у своих родственников отвык, увидел двух малых детей, жену, простую таежную бабу, взял расчет и опять уехал. Поступил так, как ему родственники советовали.

— И хорошо, — успокаивала Ульяну ее сестра Вера, — не нужен тебе еврей-жид.

Но Ульяна отвечала:

— Я Менделя люблю, все равно он ко мне вернется.

Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

— Я знаю, — говорит, — что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по дощочке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку — это любовь до гроба.

Про Менделя говорила только с улыбкой, но когда пела, то плакала. Поэтому петь старалась не при детях, а в одиночестве.

Подросла Тоня, и Ульяна начала пускать ее погулять с меньшим Давидкой, но наказывала далеко от дома не идти. К брусничнику не идти, потому что там поезда проезжают, а по грунтовке — телеги и грузовики-полупотурки. К черничнику — тем более: мост подвесной через Пижму шаткий, малому, некрепкому свалиться можно. А не свалишься, перейдешь — и того хуже. Хоть амнистированных всех давным-давно переловили, но кто знает, может, какой засиделся в чаще, на болоте. Говорят, недели две назад краснопогонники в черничник нагрянули с собаками, кого-то искали. А дедушка Козлов, дом которого самый дальний с речной стороны, слышал ночью в черничнике выстрелы, да не двустольные охотничьи — из нарезного оружия. Поселковский народ, особенно старей, в таком деле понимал и умел отличить гулкий охотничий хлопок от короткого, ясного голоса военного карабина. Потому Ульяна, отпуская детей, наказывала гулять только по улице Красных Зорь. Была, правда, и на улице Красных Зорь для детей опасность, о которой шептались поселковые женщины, — дядя Толя.

Дядя Толя жил в поселке давно, с незапамятных времен, но на поселковых похож не был; поселковые его старались избегать и детям своим наказывали с ним не говорить, а если заговорит, то не отвечать и ничего у него не брать. Дядя Толя был высокого роста, худой, в пенсне. Любил он с детьми на улице заговаривать и гостинцы им дарить, а бабушка Козлова, и тетя Вера, и другие поселковые женщины шептались, будто дядя Толя детей, которых гостинцами подманивал, колол иголкой и от этого они помирали. Будто шестилетняя дочка Митяевых от иголки померла. Куда-то писали, жаловались, но жалобу оставили без последствий и разъяснили: дочка Митяевых померла, мол, не от каких-то иголок, а от скарлатины. Однако женщины продолжали шептаться и хотели писать в Москву Ста-

лину жалобу на местное начальство, при котором дядя Толя работал садовником. Дядя Толя жил в единственном на весь поселок трехэтажном каменном доме у мочально-рогожной фабрики. В доме этом помещался также поселковый совет и фабричное управление, а вокруг дома был сад, огражденный высоким забором.

Ульяна не верила шепоту поселковых, по своей сестре судила и понимала, что верить поселковым нельзя, однако на всякий случай все ж наказывала детям, если увидят дядю Толю, идти прочь, ничего не брать у него, с ним не говорить и ему не отвечать.

Отправит детей, завесит окна черными шторками, возьмет отцовскую балалаечку и поет в одиночестве, сама себе, чтоб поплакать и облегчить сердце. Песни пела грустные, но сладкие. Начинала с “У муромской дороги”.

У муромской дороги стояли три сосны,
Прощался там мой милый до будущей весны.
Недавно мне приснился тяжелый страшный сон,
Мой миленький женился, нарушил клятву он.

И когда пела, так сладко плакалось. Понимает: скоро дети придут с прогулки, пора умыться да утереться, а все не может остановиться, плачется и поется, поется и плачется. Вдоволь наплачется, и веселей становится, вспоминаются песни, которые певал ее покойный отец, Григорий Зотов, под эту балалаечку. “Три ключи” споет.

Три ключи золотые
На адовой на ленточке,
На фарфоровой тарелочке,
На дубовом столике,
На фабричной салфеточке.

И конечно же, любимую, свадебную плясовую “Жердочка еловая, досточка сосновая”. Поет и приплясывает. Уж повеселела, уж улыбается, а из веселых глаз слезы по-прежнему текут. Случилось, в таком виде ее дети застали, дверь забыла запереть. Детям всегда страшно видеть свою мать плачущей, особенно когда плачет она одна, сама по себе, по-детски, не делясь ни с кем своим горем. Испугались дети, заплакали, но мать успокоила:

— Это я лук резала, глупые, сегодня будем похлебку есть с картошкой и пшеном.

— А мне хлеба хочется, — говорит Тоня, — я по хлебу скучаю.

Взяла тогда Ульяна Тоню на руки и поднесла к календарю отрывному за 52-й год. Календарь этот к репродукции с картины был укреплен — Сталин в полный рост в военном мундире и военной фуражке.

— У Сталина хлеба проси, — говорит Ульяна.

Начала Тоня просить хлеба у Сталина, просила, просила, потом говорит:

— Мама, Сталин не отвечает.

— Ну вот видишь, — говорит Ульяна, — даже у Сталина хлеба нет, а ты у меня просишь.

Мытье вагонов — работа тяжелая, а платят мало, как за неквалифицированный труд. Приносила Ульяна домой деньги и говорила Тоне:

— Давай аванс делить.

Садились за стол и начинали делить. Ульяна раскладывала деньги и приговаривала:

— Это на то-сё... А это на еду.

Тоня брала деньги на еду, перебирала рублевки, червонцы и говорила:

— Я буду аванс кушать.

Седьмого апреля, в день рождения Ульяны, заехали тетя Вера и дядя Никита, гостинцев привезли,

а встретить гостей нечем. Постелила Ульяна на стол чистую скатерку, поставила миску жареных семечек. Все сидели лузгали семечки, а шелуху с пола Тоня подметала. Тетя Вера и дядя Никита были не поселковые, а совхозные. Не очень далеко, но все ж поездом ехать надо или по грунтовке на полуторке. Можно, конечно, и бесплатно, пешком по шпалам, но в летнюю погоду. Лето здесь теплое, хоть и короткое, а зима суровая и долгая. Только в мае начинается лед на Пижме ломать. Седьмого апреля пурга была, улица Красных Зорь вся в сугробах, а в доме тепло, уютно, взрослые все выпившие, дядя Никита в особенности. Конечно, тетя Вера дяде Никите много пить не позволяла из-за склонности к алкоголизму, но при закуске семечками и полстакана самогона хватало.

Выпил дядя Никита и начал опять про Молотова, как уже бывало.

— Молотов, — говорит, — Молотов... Ненавижу, — говорит. — Я мальцом у купца работал, отца Молотова. Порядочный человек, он сына своего проклял.

А Ульяна, мать Тони, русская добрая женщина, за Молотова заступается:

— Он не виноват. Зачем его ругать? Его назначили. Он же должен где-то работать.

— Ох, беда моя, — говорит тетя Вера, — как увидит Дом культуры имени Молотова или проезжали мы Молотовск, так прямо при людях ругается и проклиняет. Как еще цел, не знаю. Семью имеет, пятеро детей.

А Ульяна, мать Тони, чтоб семейный скандал унять, говорит:

— Хватит вам посторонним себя расстраивать. Вот Тоня сейчас вам кабардиночку спляшет, развеселит.

Все в ладоши хлопают: асса! — а Тоня танцует. Ульяна не налюбуется, на дочь глядя, и, тоже подвыпивши, говорит:

— Звездочки мои небесные, — говорит, — детки мои, Тоня и меньшей Давидка. Вот погодите, — говорит, — новые цеха открывают при мочально-рогожной фабрике — веревочный да войлочный. Устроится мать ваша на хорошую работу, купит подарков: сарафан праздничный, калоши новые. Тоня у меня девочка умненькая, добренькая, тороватенькая.

“Тороватенькая” на местном наречье значит — “щедрая”. Слышит Тоня такие похвалы себе и еще лучше танцует, старается. Кончила танцевать, тут мать ей вопрос задает, чтоб похвалиться гостям, какая у нее дочка уже взрослая и умная.

— Кто ты есть, — спрашивает, — какого возраста и где проживаешь?

— Тоня Пейсехман, — отвечает, — шесть лет. Улица Красных Зорь, дом десять.

Вдруг тетя Вера как разозлится:

— Какая ты Пейсехман! Ты Тоня Зотова.

А дядя Никита, чтоб только с тетей Верой поспорить, говорит:

— Правильно, одобряю. Она фамилию сменила, чтоб товарные вагоны не мыть, как мать ее, и чтоб на тракторе не надрывать, как дядька ее с рассвета допоздна в мазуте и тавоте. Отец ее, Миша, шоферюга, может, самый дурной из них. У него брат родной кто? Доцент всесоюзных знаний, вот кто.

Тут Ульяна как крикнет:

— Ты Менделя моего не тронь! Не позорь отца при ребятах.

— Какой же он отец им, — говорит тетя Вера, — если сбежал. Ты б лучше на алименты подавала, чем грязные вагоны скоблить. Погляди на руки свои. Тебе только двадцать семь, и статная, нашей породы. Тебя и с двумя детьми возьмут. Вот Лука Лукич, главбух наш совхозный, вдовец, герой войны, к тебе интерес имеет.

— Нет, — отвечает Ульяна, — я Менделя люблю. Вернется он ко мне.

— Когда вернется, — спрашивает Вера, — письмо от него, что ли, получила?

— Я и без письма знаю. Будущей весной вернется.

— Это она из песни своей придумала, — засмеялась Вера. — Пойдем, Никита, пойдем. Пора уж, а то детей на суседку оставили. Пора уж... А ты, Ульяна, сестрица, гляди, как бы при твоём упорстве слезами не облиться.

На такие слова тети Веры Тоня рассердилась, затопала ножками и крикнула:

— Ты Менделя нашего не тронь!

— Вот, значит, чему тебя твоя маманя учит-балует, — говорит покрасневшая тетя Вера. — Гляди, глупых детей дядя Толя иголкой колет.

И ушли, не попрощались. Вера даже на пороге плюнула. Однако потом помирились и в гости к себе пригласили, в совхоз. Это уж летом, правда. Но с детьми раньше лета все равно в совхоз не выберешься.

Дни стояли погожие, лето теплое, а у Ульяны как раз двухнедельный отпуск подоспел. Посоветовались Ульяна с Тоней и решили: пешком пойдем по шпалам. Пораньше встанем, с передышками пойдем, еду, какая есть, с собой возьмем. По дороге в брусничнике малинки нарвем, как раз подоспела, водицы из ключа попьем.

Утро было чистое, солнечное, облака легкие и высокие, как всегда в погожие дни. А меж облаков — такие же легкие и высокие птицы. Лесные или поселковые птицы шумят, а этих не слышно — истинно небесные птицы.

— Это жаворонки, — говорит Ульяна. — Вот мы сейчас у них здоровья попросим.

Стала, подняла голову и заговорила:

— Ой вы, жаворонки, жавороночки. Летите в поле, несите здоровье. Первое — коровье, второе — овечье, третье — человечье.

— Они ведь высоко, — говорит Тоня.

— Ничего... Они добрые слова сердечком слышат.

Пошли дальше. За переездом началось ржаное поле. Ульяна поцеловала колоски и, взяв детей на руки, велела и им целовать колоски.

— Ржаной колосок — медовый пирог. Приехал на сохе, на бороне, на кобыле вороне.

Хорошо, весело, красиво вокруг, и по шпалам легко идти. Поезда редкие, раз только пропустили, и по грунтовке изредка полуторка пыль поднимет или телега прогрохочет. Люди совсем уж редко навстречу попадают. Шли мимо поля — ни одной живой души. Уж миновали поле, когда из брусничника по тропке бабушка Козлова с полным кузовом лесной малины. “Куды да раскуды?” Сели вместе передохнуть.

— День какой солнечный, — говорит Ульяна, — лето славное. Вот рожь как поднялась. С хлебом будем.

— Верно, — смеется бабушка Козлова костяным белогубым ртом, — был бы хлеб, а мыши будут. И мышь в свою норку тащит корку. Мышей развелось невидимо. Это к голоду, к беде. Я, еще солнца не было, иду, а мыши развозились и пищат, беду закликают. А ты да-лехонько?

— В совхоз, к сестре.

— К сестре — хорошо. Только в брусничник глубоко не ходи. У моей кумы тесть молодой, а уже в чинах. Кажись, главный лейтенант. Так говорит — поберечься надо.

— От чего поберечься, бабушка?

— От чего? — И опять костяным белым ртом щелкнула.

Дети дружно заревели.

— Ты, бабушка, детей мне не пугай, — говорит Ульяна, — иди своей тропкой, а мы своей дальше пойдем.

— Ты не торопись, — говорит бабушка Козлова, — ты молодая, тебе беречься — не мне. Хоть и старым беречься не грех. Вон Саввишна Котова, моя одногодка, в черничник ходила. Черницы захотела. И встретили ее у мохового болотца два огольцы. Говорят, подымай, бабуся, сарафан. Зачала она их стыдить да ублажать: “Вы молоды, вам молодка потребна”. Так, думаешь, они Саввишну послушали?

— Пойдем, дети, — говорит Ульяна, — пора нам. Тетя Вера да дядя Никита ждут.

— Ребят пуще себя береги, — кричит вслед бабушка Козлова, — дядя Толя иголочкой колет, а сестра его Раиса, волосы длинные, на крови пельмени варит.

“Чтоб ты сдохла, щука старая”, — подумала про себя Ульяна и скорее прочь пошла. Тоне велела за юбку держаться, а меньшого Давидку на руки взяла. Но уж день не таким чистым казался и за малинкой в брусничник идти перехотелось, хоть дети клянчили.

— Лучше скорее в совхоз доберемся, там с народом совхозным за малинкой ходим.

Но дорога неблизкая, умаялась Ульяна меньшого Давидку на руках нести, умаялась Тоня ножками топтать по шпалам. Было уж за полдень, утренние облачка улетели, и в бесконечном небе остались только солнце да жаворонки. Начинался зной, солнце пекло, а еще сильней солнца пекло от шпал и гравия, покрытых черными мазутными пятнами. Душный запах мазута глушил лесные и полевые запахи. Хорошо, грунтовка свернула и унесла свою пыль к понтонному мосту через Пижму. Ульяна решила держаться железной дороги, которая выведет прямо к совхозу. Да и безопасней, чем к брусничнику спуститься. Дорога пошла на закругление, и уж солнце светило в спину, а сосняк-брусничник был с обеих сторон. Перекусить бы, попить, но боязно было среди леса с обеих сторон. Наконец вышли к Пи-

жме. Шли в другую сторону, а вышли все к той же реке, потому что Пижма — река длинная и извилистая. Здесь уж былолюдно, слышались людские голоса, у пристани причалена была баржа и плоты сплавщиков. На барже сушилось белье, а какие-то подростки ради баловства, видать, жгли на отмели смоляную бочку.

— Ну вот здесь мы и перекусим, — сказала Ульяна, — здесь и со шпал сойти можно. От дороги железной отойти. Здесь место людное. Расстели, Тоня, скатерку, я сейчас на пристань за водой схожу.

— Из ключа попить хочу, — заныла Тоня.

— Попьешь и водопроводной, — сердито сказала Ульяна, — ключ в сосняке остался, который мы миновали. Слышала, какие страхи бабушка Козлова рассказывает.

Пристань называлась “Поселок Светотехстрой”. Никакого поселка еще не было, но земля во многих местах была очищена от травы и лежало много срубленных деревьев.

Перекусили спеченными накануне Ульяной холодными блинами из пшена и ржаной муки, а для Тони и Давидки Ульяна припасла на закуску яблочко, каждому половинку. Попили водопроводной воды, пахнувшей речной тиной. После того как перекусили и попили, не сразу пошли, а еще посидели.

— Ты почему на бабушку Козлову “щука” сказала? — спросила Тоня.

— Вот те раз, разве я сказала? — удивилась Ульяна. — А сказала — тоже не беда. Щука — рыба умная, она своими острыми зубами все болезни и все беды загрызает. Если укусит невзначай — пенять нельзя, за дело укусила. — И, увидав, что ребята от усталости приуныли, от еды разомлели, а дорога еще не кончилась, пропела, чтоб подбодрить: — Щука шла из Новгорода. Она хвост волокля из Бела-озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная, позолоченная...

2

В совхозный поселок пришли уж под вечер, усталые, запыленные, потные и продрогшие, поскольку, когда побагровевшее солнце пошло на закат, от леса и Пижмы потянуло холодом, а одеты-то все по-летнему: на Ульяне легкая кофтенка и юбка, на ребятах платица. Меньшой Давидка, хоть мальчик, тоже платице носил старое Тонино.

Совхозный поселок быстро разрастался, и дома здесь все были свежие, недавно сложенные, а улиц много, не то что одна — Красных Зорь — да тупички. Зато каждый тупичок на другой не похож, а здесь улицы как одна мать родила. Хоть была Ульяна у сестры не однажды, но с трудом нашла. Подходит Ульяна к дому, узнаёт по воротам да по резной фигурке над кровлей, которую дядя Никита вырезал и прибил, узнаёт и нажимает звонок. Не отпирают. Тогда стучит. Не отпирают. Что за страсть? Уж беспокоиться начала. Но в окнах свет — значит, дома. Опять звонит и стучит. Зинка, старшая, отпирает.

- Тетя Ульяна? Мама еще с работы не пришла.
- А отец?
- Папаня есть, только он спит. Вы проходите.

Проходит Ульяна с ребятами в дом и видит такую картину. Никита лежит на полу навзничь с открытым ртом и храпит пьяным храпом. Штаны, пиджак, рубашка — все мокрое и грязное, точно он долго в канаве плескался. Ноги босы и тоже грязны, а рядом ботинки, облепленные комьями грязи, в грязной лужице мокнут. Лицо разбито, в запекшейся крови и засохшей грязи. А вокруг него ребята возятся все пятеро, оравой: Зинка, Бориска, Сергейка, Матвейка и меньшей — Влас, Давидкин ровесник. Мочат ребята тряпицы в ночной горшок и тряпицами этими отцу лицо обтирают. Тут же кот Барсук трется, слушает с любопытством храп, подойдет, понюхает открытый Никитин рот, понюхает и лапками на полу у Никитиной головы закапывает, понюхает и закапывает. Всплеснула руками Ульяна.

— Ах ты чертова беда.

Попробовала перетащить Никиту на лавку — тяжелый. Набрала миску воды, обмыла лицо, нашла йод — смазала ссадины. Ребята всей оравой, теперь уж всемером, ей помогали. Смех, визг, толчея — весело. Пока так возились, Вера с поля пришла. Увидела — ничего не сказала, только рукой махнула. Перенесли сестры Никиту на лавку — пусть храпит. Вера одежду стащила грязную в стирку, все привычно, все как водится. Управилась и стала на стол накрывать; сели ужинать. Поужинали сытно: грибами вареными и хлебом, а на сладкое — лесной малиной. Поужинали и спать легли. Вера ребятам всем вместе на полу постелила. Ульяна с Верой в кровать легла, а Никита так до утра на лавке и прохрапел. Точнее, до рассвета. Когда проснулись — его уж не было, уж давно на тракторе своем. Потому и ценили в совхозе: пить пьет, а в работе не подведет. Утром уселись всей оравой за стол, поели холодца.

— Я кость от окорока варю, когда достану, — говорит Вера, — шкурки, кусочки хрящика. Ребята любят,

и мой поест тарелку, трехлитровую банку кваса выпьет и доволен. Его если хорошо кормить, он меньше пьянствует, только иногда срывается. А иной раз я кость с горохом варю.

Потом поехали в поле, на покос. Было очень красиво, много людей, и в большом котле варился вкусный обед. Ульяна пошла вместе с Верой трудиться. Серпом работать умела, хоть и отвыкла. Работа нелегкая, с непривычки особенно, но радостная. Не то что грязные вагоны мыть. От земляных запахов кружится голова и петь хочется.

— Петь здесь можно? — спрашивает Ульяна.

— А чего ж нельзя, — отвечает Вера. И запели в два голоса:

— А на шейке-то платок, точно аленький цветок, а в кармане-то другой — итальянский, голубой...

— Продавай дом, переезжай в совхоз, — говорит Вера, — я тебе уж давно советовала, да ты все думаешь, будто я свою половину денег тороплюсь получить.

— Жалко, — говорит Ульяна, — отцовский дом. Да и Мендель вернется — куда ему в совхоз? Он на мочально-рогожной фабрике опять работать захочет, его там начальство любит.

— Что тебе этот Мендель, — сердится Вера, — чем тебя этот Мендель к себе прилепил? Он уж и думать про тебя перестал, он уж, поди, давненько с Сарочкой живет. Ты лучше про Луку Лукича думай, если не ради себя, то ради детей, Тони и Давидки. Сегодня Лука Лукич у нас ужинать будет. Это знаешь, какой человек? Герой войны, весь пиджак в золоте и серебре. И справа висит, и слева висит. Семью свою в войну потерял и потому из тех мест уехал от тяжелых воспоминаний подальше, в наши места. А здесь туз тузом. Сам Куцепалов, директор совхоза, перед ним спину гнет, поскольку все финансы у него, а он лицо материально ответ-

ственное перед городским банком. И человек добрый, редко кто теперь согласится с двумя детьми взять.

Пока взрослые беседовали и трудились, дети веселились, бегали по траве, забирались в скирды. Потом появился дядя Никита и каждому дал по птичьему яичку в желтых крапинках. Тонино яичко разбилось, и она заплакала, но дядя Никита тут же дал ей другое. Пообедали в поле крестьянской похлебкой с говядиной и капустой. Каждому досталась полная алюминиевая миска похлебки.

Вечером перед ужином Вера говорит Ульяне:

— Я тебе свое платье дам, ты приоденься. У нас, кажись, один размер. Ты чуть худее, но можно где надо булавкой зашпилить. И туфли мои одень на каблучках. Ежели велики, в носки тряпок набей. Это лучше, чем когда давят. И духами побрызгайся “Красная Москва”. Я на особые случаи флакончик берегу. А это и есть особый случай в твоей судьбе, Уля.

Приделалась Ульяна, посмотрела на себя в зеркало в полный рост, ахнула: точно по волшебству из жабылягушки стала царевной. А Тоня как увидела свою маму такой — засмеялась от радости, в ладошки захлопала. Тут же и тетя Вера радостная суетится, где лишнее, булавками подкалывает. Взмахнула Ульяна руками и пошла перед зеркалом каблучками притопывать.

Вниз по озеру гагарушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Выше леса крылья взмахивает,
На себя воду заплескивает.

— Хороша невеста, — смеется дядя Никита, — пора свадебную баньку топить. У нас в деревне Лобанове над рекой Истрой, откуда я родом, накануне свадьбы топили баню, и подружки мыли невесту. Косы пере-

плетали. Пока девушка — с одной толстой косой, а замужняя — уж две косы... Хороша наша деревня. Над кровлей каждого дома — резная фигурочка, на окнах — узорные наличники.

— Ладно, — оборвала его Вера, — и наши не хуже ваших. Гляди на Улю, какая рыбка плывет. Надо только шелковы невода, чтоб ее изловить.

Лука Лукич пришел в седьмом часу вечера, как и условились. Принес бутылку водки “Московская”, полфунта масла и банку красной кетовой икры. Торговля с Западом тогда велась незначительная, и икру черную и красную пускали на внутренний рынок. Стояла она на прилавках свободно, даже и в захудалой провинции, и была гораздо меньшим дефицитом, чем обычная чайная колбаса. Стоила икра по сравнению с нынешними ценами недорого, но народ зарабатывал еще меньше, и была икра, как и ныне, мало кому доступна. Однако Лука Лукич, главбух совхоза, мог себе позволить.

— Вчера в горбанке был, — сказал Лука Лукич, усаживаясь за стол и расправляя свою хорошо выращенную, по грудь бороду, черную с седой искрой, — в горбанк ездил, а там напротив гастроном большой... Был в горбанке, купил икру в банке, — пошутил Лука Лукич.

Лука Лукич был человек тяжелого веса и уважение к себе имел увесистое. Вера устроила так, что за столом Ульяна оказалась рядом с Лукой Лукичом.

— Вы, Лука Лукич, уж поухаживайте за моей сестрой, — сказала Вера, сахарно улыбаясь, — а то она у нас несмелая.

— Рад стараться, — шутливо ответил Лука Лукич, и когда он потянулся вилкой к блюду с холодцом, то ордена и медали на его груди зазвенели, как колокольчики, которые вешают в здешней местности на шею козам и коровам, чтоб легче было отыскать их в тайге.

Положив кусок холодца Ульяне, он положил кусок и себе на тарелку.

— Хренка бы, — обратился он к Ульяне, — и вам советую.

— Я острого не люблю, — сказала Ульяна.

— Напрасно, — сказал Лука Лукич, принимая от услужливой Веры посудину с тертым хреном и накладывая себе побольше. — Способствует, — добавил он, но чему способствует, не объяснил. — А стюдень хорош, — сказал, положив кусок в рот и прожевав. — Это говяжий стюдень со свиными губами?

— Точно, — умилилась Вера, — вы, Лука Лукич, знаток. Вам холодец из хрящей жена не подсунет. Да и было б за что, мы, женщины, все раздобудем.

Действительно, побегала Вера многовато: и в станционном буфете переплатила, и мясника в совхозном магазине отблагодарила, пока достала три говяжьи ноги и пол свиной головы. Ребятам, всей ораве, накрыли стол отдельно, на кухне, и потому разговор у взрослых после второй рюмки пошел серьезный и нестеснительный.

— Вчера в городе кино смотрел, — сказал Лука Лукич, — “Иван Грозный”. Хорошая картина, только с названием я не согласен. Для кого он, понимаешь, Грозный был? Для боярства и купечества, а не для народа. Я считаю, самое ему подходящее название не Иван Грозный, а Иван Серьезный.

— Это верно, — сказала Вера, сворачивая на свое, — серьезному мужчине жена всегда рада. А у сестры моей муж попался никудышный. Мендель, еврей. Бросил ее с двумя детьми.

— Не в том дело, что еврей, — медленно, рассудительно шевелил губами Лука Лукич, — это я не согласен, как у нас некоторые к евреям относятся. Маркс был еврей и Яков Свердлов. Какой человек, важно, а не нация.

Такие слова Луки Лукича Ульяне понравились, она подняла глаза и посмотрела на него уже мягче. Луке Лукичу было лет сорок пять, и если б сбрил бороду да нос был бы не так толст, то имел бы лицо даже приятное.

— Двое детей, говорите, — боролся со словами выпивший Лука Лукич, — я люблю малых... Семью мою немцы-фашисты сожгли в сарае вместе с другими односельчанами за то, что в деревне немца убили... Жену и троих маленьких. — Он вынул платок и приложил его к глазам.

За столом притихли. Никита дожевывал кусок хлеба, но Вера его дернула, и он остался сидеть с полным ртом, пока Лука Лукич не отнял платок от глаз.

— Воспоминания, — сказал Лука Лукич, утер слезы и громко в этот платок высморкался.

Только после этого Никита дожевывал кусок.

— “Не в шумной беседе друзья узнаются, — сказал Лука Лукич, — друзья узнаются с бедой. Коль горе настанет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой”.

— А мы, Лука Лукич, все плакали, — сказала Вера. — Верно, Никита? Когда вы начали про деток... — И она приложила платок к глазам, громко всхлипнула.

— А где же детки? — спросил Лука Лукич.

— Нету деток, — сказал Никита, — деток немцы в сарае сожгли.

— Тю на тебя, — сказала Вера, — он когда выпьет, Лука Лукич, не помнит, что говорит. Лука Лукич про Ульяниных деток спрашивает. — И через стол быстро шепнула Ульяне: — Позови Тоню и Давидку.

Когда позвали детей Ульяны, из кухни пришла вся орава.

— Ай, хорошо, — умилился и повеселел Лука Лукич, — люблю, когда полный дом детей.

— Это дело наживное, — сказала Вера и рассмеялась.

— Которые из них? — спросил Лука Лукич, тоже смеясь. — Которые Ульяны? Этот, что ли?

— Нет, — сказал Никита, — это наш. Это Макарка.

— Макарка, — умилился Лука Лукич, — ты чей будешь, Макарка?

— Я? Матерный сын.

— Матерный? — захохотал Лука Лукич, снова прижимая платок к глазам и утирая слезы, но уже от смеха. — Именно что матерный... Так нехорошо, так не надо... Матерный...

Если пьяного и сытого человека что-то рассмешит, то уже остановить невозможно, пока не высмеется.

— Матерный... Ах ты, ах ты... Ах ты, цыцкин сын... Цыцкин сын — это приличней. Кто из нас не цыцкин сын, тот цыцкина дочь... Все мы цыцкины дети...

Было уже поздно, в окна светила яркая луна. Лука Лукич глянул на свои карманные часы — “луковицу” в хромированном стальном корпусе.

— Пора... Завтра мне на работу пораньше... дебит-кредит...

— Проводи Луку Лукича, — сказала Вера Ульяне, — а то, может, его кто обидит... Я детей сама уложу.

— Сделайте любезность, — сказал Лука Лукич Ульяне, — сперва вы меня проводите, потом я вас провожу.

— Ты куда, мама? — спросила Тоня, увидав, что мать ее направляется к дверям с Лукой Лукичом.

— Иди, иди спать, — вмешалась тетя Вера и повернулась к Ульяне: — Гуляй, не беспокойся, я с детьми сама управлюсь.

Ульяна вышла на улицу. После душного, спиртного застолья сырой холодный воздух был вкусен, хотелось стоять и дышать, не думая ни о чем. Черную мглу вокруг освещали лишь слабые отсветы из окон. Во тьме лаяли собаки, что-то скрипело и гудело.

— Это на Пижме паром скрипит, — сказал Лука Лукич, — никак мостом не разживемся. Я, как депутат, уже несколько раз ставил вопрос в исполкоме. И фонари необходимы, улицы осветить. Здесь местность таежная, людишек хватает, которым во тьме удобней... Был у меня случай в прошлом месяце. Подходит ко мне: часы давай. Я ему говорю: сволочь, не успеешь опомниться, как я тебя ударю по голове. Причем дважды. Он меня ударил по верх головы. В том смысле, что я пригнулся... Я же после партизанщины и фронта все приемы знаю... Главное в драке — бухгалтерский расчет... Шаг назад, и яйца сохранины...

Про яйца с перепоею сказал, поскольку еще не выветрилось, но тут же опомнился и извинился.

— Я, знаете, никогда не ругаюсь, хоть работа у меня нервная, ответственная. Если уж припечет, скажу: ах ты хрен перловый — и все.

Ульяна ничего не ответила. Шли молча. Подошли к Пижме у скрипящего во тьме парома.

— Похолодало, — сказал Лука Лукич. — Вот пиджак мой позвольте, а то платье на вас легкое.

И повесил на худые плечи Ульяны свой тяжелый пиджак с позвякивающей металлической грудью.

Меж тем Тоня все не могла заснуть, хотела дождаться матери. Вера с ней замучилась и даже на нее прикрикнула. Остальные дети уже спали, а Тоня все ворочалась, поднимала голову и глядела в окно.

— Спи, — прикрикнула тетя Вера, — мать твоя тоже человек, погулять хочет. Она не скоро придет.

Однако вернулась Ульяна, к радости Тони, через какие-нибудь полчаса.

— Ты чего? — тревожно спросила Вера.

— Ничего, — ответила Ульяна и добавила тихо: — Не люблю, когда у мужика борода водкой воняет.

— Э-эх, — сказала Вера, — только мое платье студнем забрызгала. Вон пятно, теперь не отстираешь.

— Это Лука Лукич забрызгал, когда за мной ухаживал, — ответила Ульяна.

И больше о Луке Лукиче разговора не было. Утром Вера ушла на покос сердитая, не попрощавшись, а Никита, у которого был отгул, отвел Ульяну с детьми на полустанок и купил им билет на поезд. Так, на поезде, уже без всякой усталости, быстро и удобно приехали они назад, на свою улицу Красных Зорь.

3

Улица Красных Зорь осенью непроходима. Ноги не вытащишь. А вытащишь — калошу в грязи оставишь. Осень для Тони — худшая пора. Этой же осенью совсем худо: старые калоши порвались, а на новые мама Ульяна деньги не заработала. Получила Ульяна аванс, сели они с Тоней за стол деньги раскладывать: на то, на сё, на то, на сё и на еду отдельно. А на новые калоши не получается.

— Ты, может, потерпишь, дочка? — говорит Ульяна. — В слякоть все равно далеко не пойдешь, а вот замерзнет скоро, снега наметет, валенки наденешь. Они у тебя новые и теплые.

Согласилась Тоня, что поделаешь. Согласиться-то согласилась, но все равно обидно. Сидит Тоня на заборе и плачет. Калош нет — гулять не может. Вдруг видит Тоня, дядя Толя идет. Испугалась, еще сильнее плачет. Подходит к ней дядя Толя и спрашивает:

— Чего ты плачешь, голубушка?

А лицо у него бледное, пенсне блестит, и всё покашливает. Спрашивает и покашливает сипло. Хочет Тоня с забора соскочить, хоть бы и в грязь, да от страха как будто к доскам приросла. Полез тогда дядя Толя рукой в карман свой.

“Ой, сейчас иголочку вытащит, — думает Тоня, — ой, сейчас уколет”.

А дядя Толя вынул из кармана бордовую ленту и подарил. Взяла Тоня, побоялась не взять, да и лента шибко красивая. Пошел дядя Толя своей дорогой, вреда Тоне не причинив, даже наоборот, несколько раз останавливался и рукой ей махал. И Тоня тоже раз в ответ рукой махнула — не удержалась. Потом, когда дядя Толя скрылся, слезла Тоня с забора, пошла в дом, матери все рассказала и ленту показала. Узнали про ленту бордовую соседи, и тетя Вера, которая проведать сестру захала, и бабушка Козлова, и прочие поселковые женщины. Все говорят: выкинь ленту, выкинь. А бабушка Козлова даже посоветовала: спали ее. Послушала Ульяна эти советы, послушала — и бант завязала. Красив бордовый бант в Тониных темно-русых волосах. Ахнул народ поселковый, как узнал, что Ульяна совершила.

— Ульяна сама порченая, — говорят, — она с жидом жила, от жида детей прижила. У ней кровь тифозная.

А дедушка Козлов сказал:

— Раньше с жидом, а теперь с контрой. Дядя Толя ведь непокорный враг революции. Он дворянского звания.

Меж тем дядя Толя еще подходил и заговаривал с Тоней, поскольку Тоня не гуляла, а сидела на заборе и ее встретить было нетрудно. Тоня уже не пугалась, не плакала и брала у него гостинцы, какие раньше и не чудились: то шоколадку, то печенье мятное, то две мандаринки. А раз принес новенькие калоши. Подкладка ярко-красная, мягкая, резина тугая, пахучая. Натянула Тоня калоши — в самый раз. С забора соскочила, по грязи пошла: ноги сухие, и калоши прочно сидят — высшее качество. Не областной фабрики, а Мосрезинотреста. Клеймо имеется. Ульяна вместе

с Тоней со всех сторон новые калоши осмотрели — хороши. Тоня их перед сном рядом с кроватью аккуратно ставила, а не в передней, где иная, старая обувь. Вымоет, высушит и поставит. Пусть стоят, блестят, резиной вкусно пахнут. Радуетса не нарадуется вся семья, даже меньшей Давидка подойдет к Тониным калошам да погладит. Однако у Ульяны имелись и сомнения: отчего дядя Толя такой тороватый к Тоне, что у него за умысел и откуда он про калоши догадался? Говорит Ульяна Тоне:

— Если еще дядя Толя появится, кликни меня, я подойду.

Тоня и сама уж ждала дядю Толю: что подарит? Уж привыкла к подаркам. Ждала, когда на улице Красных Зорь послышится сиплое покашливание, и потому она не обращала внимания на крики соседских ребят, которые ее дразнили.

— Дядя Толя, дядя Толя, — кричали они ей, — Тоню иголочкой колет!

— На-кось выкуси, — кричала им в ответ Тоня, — больше не дам никому ни кусочка пряника, ни кусочка шоколадки.

Дразнить дразнили, а уйдет дядя Толя, подбегали и лакомства выпрашивали. Вот приходит дядя Толя и приносит два пирожка. Вкусные, медовые, с орешками. Берет Тоня пирожки, пробует и наслаждается, а соседским ребятам незаметно кукиш показывает. Ест Тоня пирожки и спрашивает, пережевывая сладкие, липкие кусочки.

— Можно, — спрашивает, — я свою маму, Ульяну, позову, поскольку она просила ее позвать, когда вы придете?

— Буду весьма рад, — отвечает дядя Толя, — я твою матушку издали наблюдал, и для меня большая радость с ней познакомиться.

Позвала Тоня Ульяну, и дядя Толя действительно весьма обрадовался, улыбается и смущенно покашливает.

— Разрешите представиться, — говорит, — Мамонтов Анатолий Федорович. — И Ульяне руку поцеловал.

Ульяна сначала от такой необычности растерялась, а потом освоилась, себя назвала.

— Ульяна Григорьевна, в девичестве Зотова, по мужу Пейсехман.

— Весьма приятно.

— И мне приятно. Только вас спросить хочу: почему вы нам подарки делаете? Ведь мы же чужие.

— Я верующий, — отвечает, — и по моей вере полагается чужих любить как своих. Слышал я, как соседские ребята Тоню дразнят, что у нее калош нет, вот и подарил калоши.

Подивилась Ульяна таким речам, они ей непривычны были. И человек дядя Толя непривычный. Издали опасным казался, а вблизи улыбку имел тихую, беззащитную. Нищую улыбку, которая словно что-то выпрашивала, будто в состоявшемся знакомстве не дядя Толя одаривал, а его одаривали.

— Буду весьма признателен, — говорит, — если вы с мужем согласитесь принять приглашение мое на обед.

— Хорошо, — отвечала Ульяна, — только муж мой Мендель Пейсехман в настоящее время в длительном отъезде, и жду я его возвращения не раньше весны. Но с Тоней приду.

И начали они с Тоней с того времени к дяде Толе в гости ходить. Первый раз пришли — обомлели. Дядя Толя с его сестрой Раисой жили в большой пятикомнатной квартире на нижнем этаже трехэтажного дома из серого кирпича, словно перенесенного сюда из Москвы, Ленинграда или, в крайнем случае, из области.

Впрочем, к внешнему виду дома поселковые привыкли и не дивились, поскольку стоял этот дом еще с давних, дореволюционных времен. И, конечно, подобно иным поселковым, Ульяна видала высокие внутренние комнаты, когда приходила на верхние этажи дома в поселковый совет или фабричное управление. Однако те комнаты были уж переоборудованы в присутственное место с канцелярскими столами и побеленными стенами. Каждое жилье имеет свою душу, свой дух, который исчезает вместе с прежними обитателями. Потому так быстро обращались в пропахшие керосином хижины-коммуналки бывшие квартиры-дворцы аристократии, буржуазии и купечества. А из всех народных наибольшим классовым сознанием, как известно, обладают вошь да клоп, которые сразу сообразили, куда им из полуподвалов переселяться.

Однако в пятикомнатной квартире Мамонтовых прежний дух был сохранен полностью и обитателями, и обстановкой. Все пять комнат были тесно уставлены мебелью такого вида, которая не то что Ульяну — столичного советского гражданина удивила бы. Ульяна, как и прочие поселковые, привыкла к рундукам, сундукам да ларям, дощатым, крепко сколоченным из сосны и ели, прямым, угловатым. Здесь же мебель словно текла, изгибались не только ножки, но и ручки, и спинки кресел и стульев. И обивка сидений и спинок кожаная, бархатная, шелковая, атласная. Прибито все гвоздиками с блестящими головками, отделано бахромой и тесьмой. Множество резных шкафов и шкафчиков шоколадного цвета, посудные буфеты, и на них изображены разные плоды, цветы, листья, фигурки детей, животных. Уж на что Никита в свободное время искусно резал по дереву и даже над кровлей дома фигурку прибил, да разве сравнить тонкую столярную работу с работой плотника.

Но как же не разбили все это во время революционной бури, как не конфисковали во время классовой борьбы? Заступники нашлись. Сначала из революционной интеллигенции, а потом из совещанства, поскольку красивая мебель отечественного производства для революции безопасна, а для новых любителей роскоши даже полезна. Конечно, много побили, много пропало, и в итоге мебельную фабрику Мамонтовых переоборудовали в мочально-рогожную фабрику, но эти пять комнат сохранили как музей, и при музее жил бывший владелец, который ныне работал садовником. В начале двадцатых годов, еще при покойном Федоре Евгеньевиче Мамонтове, был на мочально-рогожной фабрике мебельный цех, снабжал губкомы, райкомы, исполкомы, посылал и в центр. Федор Евгеньевич работал в этом цехе спецом. Однако давно уж и этот цех закрыт, а Федор Евгеньевич давно уж покоится на сельском кладбище села Абрамцева близ подмосковного городка Хотькова, покоится рядом с женой своей, которая, как выразилась Раиса Федоровна, “имела счастье умереть в 1916 году”.

— В селе Абрамцеве у нас имение было, — рассказывала Раиса Федоровна, после того как пообедали и сели за полированный столик чай пить с домашним пирогом.

Обед был куриный, пахучий, поскольку Анатолий Федорович садовником при начальстве зарабатывал неплохо и ценился особенно за земляные вазы из цветов, которые он по заказу делал. Даже в область ездил и перед обкомом такую вазу соорудил. Обед был непривычен и вкусен, однако ведь и Ульяна умеет вкусно приготовить, если есть за что. Не курицу, тушенную с вином, но зато пельменей налепит — сами в рот просятся. Пельменей-то налепит, а вот подать их, кроме как в алюминиевых мисках или в глиняных тарелках,

не в чем. Поразил Ульяну и Тонию не так обед, как поразила посуда. Большие тарелки с золотым ободком, с лазурью, с розовыми цветами. Ноготком по краюшку постучишь — они так тихо звенят, так музыкально отзываются. Что еще понравилось Ульяне у Мамонтовых, так это гитара, тоже шоколадного, густого цвета, с краснотой. На гитаре — не то что на балалайке, пальцы с непривычки путаются, но попробовала, наиграла мелодию “У муромской дороги”. А Раиса легко струны перебирала, мягко, полузакрыв глаза, и пела в своем шелковом красном капотике, сидя на шелковом зеленом диванчике, потряхивая длинными, до плеч, распущенными темными волосами. Пела романсы:

Тихо, так тихо
На землю спускаются грезы.
В темную летнюю ночь
Росой наполняются розы.

Попела, помолчала и неожиданно начала рассказывать, как их старшего брата Костю в семнадцатом году убили.

— Мы с Толей тогда еще в гимназии учились, а он студент. Ехали из Петербурга в Москву, домой. Как сейчас помню, ведь столько лет, а помню, стояли в тамбуре и вдруг видим, в тамбуре соседнего вагона по стеклу кровь потоком, будто на стекло ведро крови выплеснули. В соседнем вагоне солдаты ехали пьяные и меж собой драку затеяли. Костя наш был романтик, народолюбец, у него на груди красный бант висел. Да и у меня тоже. Простой народ мы любили, на этом воспитаны были. У нас в Абрамцеве отец организовал учебно-показательную столярную мастерскую. Набирали деревенскую молодежь, были подростки, были и столяры поопытней. Народ талантливый, милый,

славный. Если и выпьет кто, так попляшет, попоет, проспится и опять работать. Работали с любовью. Отец и здесь, когда перед революцией фабрику построил среди местных лесов, собирался кустарно-художественную мастерскую открыть и столярному делу народных умельцев обучать. Земство нас активно поддерживало. Дело шло хорошо. Помню, отец говорил: перед мебельным делом стоит задача создать обстановку русского жилого дома, русской церкви и русской школы. Помимо фабрик, и артели организовать хотел с использованием старой русской резьбы по дереву. Мебель наша призы брала на Нижегородской ярмарке и за границей, в Лейпциге. Вот Костя и решил, что дерущиеся солдаты — это те же столяры, только перепившиеся не в меру и кем-то обманутые, стравленные. Пошел к ним: товарищи, не лейте свою революционную кровь на радость врагам России, — и хотел разнять. А они сразу: наших бьют! — объединились, и на Костю. Опомниться никто не успел, как на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать. Поезд остановили, но левую Костину руку так и не нашли. Хоронили без левой руки.

Раиса Федоровна вдруг сжалась в комочек в углу дивана, подобрала под себя ноги и заплакала, задрожала, а вслед за ней испуганно заплакала Тоня. Анатолий Федорович сел привычно рядом с сестрой — видно, эти припадки были не впервой — и начал гладить по плечам и голове.

— Перестань, Раиса, что старое вспоминать. Как давно было. Вот ты гостей напугала, девочку...

— Старое, — крикнула Раиса, — а сейчас нас здесь по-старому и ненавидят, точно революция не кончилась! Только что на части не рвут, поскольку это запрещено властью. Мы как будто и не высланы, сами сюда приехали, а уехать отсюда не разрешают, особенно

брату. Сначала отказывали, будто мы родственники белого генерала Мамонтова. Не знаю, может, и родственники – все дворянство меж собой в родстве. Но теперь уж генерала не упоминают, отказывают просто так. У Толи легкие больные, а климат здесь болотистый, сырой. Но народ здесь еще хуже климата. Выдумали, что Толя детей иголочками колет... Ох, ненавижу... Хамы! Волки!

Анатолий Федорович взял сестру за плечи и увел ее в соседнюю комнату. Ульяна уж жалела, что пришла. Ей Тоню успокаивать; да хоть бы кто ее самое успокоил после рассказа Раисы и ее припадка. Ульяна была местная, поселковая и по себе знала, что такое поселковое мнение, которое передается от соседа к соседу, от родителей к детям и в котором жертва может утонуть не хуже, чем в моховом болоте. Но все ж это было привычно, с этим можно было сжиться, если ступать не в глубину, а идти по кромке, как вдоль болота. А в ненависти Раисы было чужое, она слепила, как пришедшая с небес молния, и сжиться с этим было нельзя, обойти невозможно. Попадет – испепелит.

Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хоть поселковые и темны, и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может, как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохранные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более минут через десять после припадка вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских кон-

торах: юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены. Красивая, хоть и в годах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту — женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.

— Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет — побойтся. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, — уж извините. Особенно после моего жениха-поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.

Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:

Он был не в меру польский,
Он был не в меру псих.
Он был Збышек Раздольский,
Моей сестры жених.

— Замечательно, — сказала Раиса Федоровна, — и после всего этого — с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после того как Збышека выслали в Варшаву... И после всего — поменять Збышека на хама? — снова повторила она. — Вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе,

то многие из них меня хотели... Тут был начальник поселковой милиции Восрухов... Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел... Вызвал как будто для проверки паспорта.

— Оставь, Раиса, — умоляюще сказал Анатолий Федорович, — здесь же девочка.

— Ребенок все равно не понимает, о чем речь... Дай ей конфет... Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия — от Эйнема, ныне фабрика “Красный Октябрь”... Теперь ведь все красное... Зори покрасили, осенний месяц перекрасили... Но чего я все о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина...

— Умоляю тебя, Раиса, — сказал Анатолий Федорович, — не понимаю, отчего ты сегодня так разговори- лась при гостях.

— Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.

— Верно, мы уж засиделись, — заторопилась Ульяна, — меньшого из садика время забирать.

Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня любила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федорович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна любила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.

Фридрих Горенштейн

Астры осенние, грусти цветы,
Тихо-задумчивы ваши кусты.
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь
Осенью поздней к земле.

Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны камене-
ло в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем
раньше не думала никогда.

Сад весь осыпался, все отцвело.
Листья опавшие вдаль разнесло,
Лишь одинокие астры осенние
Ждут не дождутся весны...

4

Выпал и растаял первый снег — это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. “Осенний снежок — не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути — шесть недель срока”. Когда минули эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и, случилось, даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И, случилось, уж сама Ульяна приходила без детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит, — всё тревожит и радуется, если взглядеться и вдуматься.

— Меня давно уж волнуют чувства растений, — говорил Анатолий Федорович, — их смерть от холода и жары, их страдания от ранений. Вот бухарник, или

медуница, медовая трава. — И он показал стоящие на застекленной теплой террасе среди прочих цветов маленькие бледно-лиловые колоски. — Они меня узнают, когда я подхожу. Меня они любят, а мою сестру — не очень, потому что она слишком уж грубо ломает их стебельки. Я же стараюсь это делать осторожно и всегда с молитвой прошу прощения. Стебельки мне необходимы для настоя, поскольку это хорошее старое средство при нездоровье легких. У меня легкие давно уж нездоровы, и, может, потому больше иных поэтов я люблю Надсона. Я понимаю, Александр Сергеевич Пушкин лучше, а люблю все равно Семена Яковлевича Надсона. Сейчас он забыт, а в наше время его все мое чахоточное поколение любило. Как он о себе писал: “Болезнь груди да пламень личного желания”...

И Анатолий Федорович осторожно прикоснулся к руке Ульяны своими холодными пальцами. Прикосновение больных пальцев было неприятно, но Ульяна вытерпела, чтоб не обидеть этого милого человека. Они сидели в странном кресле, двойном, спиной друг к другу. Слышно было, как в соседней комнате Раиса Федоровна брэнчала на гитаре и тихо пела:

Целый день спят ночные цветы.
Но лишь солнце за рошу зайдет...

— Это кресло так и было обозначено в рекламе: “Для более укромного и тайного поцелуя”, — сказал Анатолий Федорович. Он блеснул глазами и улыбнулся таинственно. Пенсне по-чеховски висело у него на ухе, на шелковом черном шнурке. — “Я тебе ничего не скажу...” — игриво пропел Анатолий Федорович, повторяя куплет, который из соседней комнаты пела его сестра. — “Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть...” Теперь Надсон забыт, а во времена моей

юности он был любимцем. Он искал успокоения от надвигающихся потрясений на лоне чистого счастья, в мире грез, в мире чистой красоты... “У меня не песни, а намеки” – очень образно сказано... Он сейчас забыт, а тогда его любил Чехов, Бунин считал его своим учителем... Знаете, человек, прежде чем сделать решительный выбор, желает не только мыслью, но и сердцем осознать предстоящий ему путь... Вам скучно меня слушать, Ульяна Григорьевна?

– Нет, очень, очень интересно... Я и не думала, что возможно так говорить... Но только извините, кресло слишком неудобное... Отчего это спиной надо сидеть один к другому?

– Для большей интимности, – тихо сказал Анатолий Федорович. – Впрочем, если вам неудобно, мы можем пересесть в то кресло, тоже сдвоенное, но друг против друга. Оно в рекламе называлось “Для чинной беседы и спокойного обмена рассудительными разговорами”.

– Давайте пересядем, – сказала Ульяна, чувствуя беспокойство от прикосновения к ее спине худых лопаток Анатолия Федоровича, – то кресло удобней.

– “Не говорите мне, он умер, он живет, – продекларировал Анатолий Федорович Надсона, когда они пересели, – пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть лира сломана, аккорд еще рыдает”. – Он снова блеснул глазами, потом надел пенсне и тихо пропел вслед за сестрой:

И в большую усталую грудь
Веет влагой ночной, я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу...

Приехали мы сюда давно, а вот впервые я так с местным человеком говорю... Помню, поселок был ма-

ленький и улица называлась Брусничная. Потом, к десятилетию Октября, ее в Красных Зорь переименовали... Сколько лет прошло, а вражда вокруг меня и сестры так и осталась. Поэтому я вам благодарен, Ульяна Григорьевна. И Тоне... Хорошая у вас дочка, берегите ее. Она должна учиться.

— Отчего ж меня благодарить, — сказала Ульяна, — это я вас благодарить должна. Но мне пора, Тоня одна дома управляется.

— Погодите, — умоляюще сказал Анатолий Федорович, — я вам собирался нечто сказать, но вот запаятовал.

— В следующий раз вспомните.

— Нет, Ульяна Григорьевна, в следующий раз я, может, и не решусь... Скажите, Ульяна Григорьевна, — он опять снял пенсне и посмотрел ей в лицо, близоруко щуря голубые, влажные глаза, — Ульяна Григорьевна... Отчего... нас ненавидят?

Чувствовалось, что он спросил вовсе не то, что хотел, и в последнее мгновение вопрос свой подменил. Ульяна знала, какой это вопрос, она слышала его уже произнесенным: согласитесь ли вы выйти за меня? “Конечно, нет, потому что я люблю Менделя”. Но, по счастью, Анатолий Федорович не спросил и она не ответила; по счастью, он вопрос о любви подменил вопросом о ненависти.

— Сестра моя — человек с больными нервами, но ведь она права. Выросли новые поколения, а ненависть к нам осталась прежняя. Отчего так?

— Оттого, Анатолий Федорович, что они Надсона не читали.

— Но ведь и вы Надсона не читали?

— Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом.

Пришла Ульяна после этого разговора домой, покормила детей, управилась по прочим бытовым нуждам, а когда дети заснули, окончательно решила: больше к Мамонтовым не пойду. Тоня пусть ходит, а я не пойду. Анатолий Федорович умный, душевный человек, он поймет отчего и не обидится. Жаль, конечно, да что поделаешь.

И действительно, больше не ходила. Тоню послала, а сама не ходила. Раз увидела на улице Красных Зорь Анатолия Федоровича со спины, так в тупичок торопливо свернула, переждала.

— Раиса Федоровна про тебя спрашивала, — говорит как-то Тоня, — отчего ты не приходишь?

— Скажи — захворала, — отвечает Ульяна. — Я туда, дочка, больше не пойду, а отчего, тебе еще не понять, поскольку мала слишком. Ты же ходи, люди они хорошие и хорошему тебя научат. А я папу нашего, Менделя, ждать буду, тем более до весны уже недалеко.

Такой срок сама себе внушила и в него поверила. Однако гораздо ранее весны, под новый, пятьдесят третий год, прибывает поздравительная открытка. Глянула Ульяна и затряслась: от Менделя. Что написано, прочесть из-за слез не может, да и буквы от волнения не складываются, а просто прижимает открытку то к губам, то к сердцу и целует. Как взяла открытку у почтальона, села с ней на лавку, так и не поднялась, пока Тоня с прогулки не пришла.

— Случилось что? — спрашивает Тоня, глянув на мать.

— Папа приезжает, папа Мендель приезжает! — как закричит Ульяна.

А ведь открытку-то так и не прочла. Начали они с Тоней открытку разглядывать. С одной стороны — елка в золоте и серебре и Дед Мороз с подарками среди зайцев. А с другой стороны корявым почерком

Менделя написано поздравление жене и детям, а про то, что приедет, — ни слова. Однако Ульяна не унывает: раз вспомнил, написал, значит, приедет. Ульяна ответить не могла, поскольку обратный адрес указан не был, однако ждала, и действительно, в феврале — новая открытка: крейсер “Аврора”, по углам — красные знамена, а с обратной стороны корявым почерком Менделя: “еду” и прочее, разное — “люблю”, “соскучился”. Но главное — “еду”, а то, что “люблю, соскучился”, и без того понятно.

В начале февраля прибыла открытка с крейсером “Аврора”, а двадцать шестого февраля, в метельный, морозный день приехал Мендель.

Встречать на станцию на санях поехали Ульяна и Тоня; меньшого Давидку дома закрыли. Сани с лошадью выделил профком мочально-рогожной фабрики, поскольку Ульяна известила о приезде мужа и фабричные тоже были рады: хороший шофер и первоклассный слесарь возвращается, а людей не хватает. Увидели Ульяна и Тоня Менделя, повисли на нем. Он еще с вагонных ступенек на снег не спустился, а они уже повисли, другим пассажирам мешают выходить.

— Подождите, — смеется Мендель, — давайте дома доцелуемся, а то на морозе друг к другу примерзнем. — Потом вдохнул воздух. — Ах, — говорит, — ну и вкусный же здесь воздух, как брусника замороженная, со снежком.

Дорога от станции и улица Красных Зорь были в сугробах, лошадь вязла, сани боком шли, и Мендель выскакивал из саней, вместе с возницей лошади помогал. Пуржит, ветер в лицо снегом хлещет, но весело, радостно, и, что б Мендель ни сказал, Ульяна и Тоня хохочут. Мендель, кстати, себя шутником считал. Был он мужчина сильный, с большими руками, упитанным квадратным лицом, нос имел широкий и курносый,

уши оттопыренные, и если взглядеться, то чем-то Луку Лукича напоминал. Был тяжелодум и каждое слово произносил значительно, так что брат его, Ося, даже дал ему кличку Философ. Однако, в отличие от Луки Лукича, был Мендель добрый и обаятельный, а в сочетании с некоторой туповатостью это создавало характер спокойный, веселый, ласковый. Недаром Ульяна так по мужу тосковала. И Мендель соскучился по жене и детям.

— Как Давидка, — спрашивает, когда к дому подъезжали, — узнает ли меня, признает ли?

— Признает, — отвечает Ульяна, — он тебя тоже ждет не дождется. Ему уже четыре года, все понимает.

Когда Мендель вошел в дом, Давидка стоял у окна.

— Давидка, — сказал Мендель и протянул к нему руки. Давидка повернулся лицом к окну, спиной к отцу. Глаза мальчика наполнились слезами.

— Давидка, — снова, уже с некоторой тревогой, позвал Мендель.

Давидка по-прежнему стоял отвернувшись и молчал. Мендель сам подбежал, схватил сына на руки, поцеловал, и тогда лишь Давидка заплакал громко и сказал:

— Папа, чего ж ты так долго не ехал?

Однако и Давидка вскоре уж смеялся, веселился и вместе с Тоней помогал матери мыть отца. Ульяна крепко натопила печь, постелила у печи солому, поставила на солому деревянную, склепанную обручами бадью, наполнила бадью горячей мыльной водой и поливала сидящего в бадье Менделя из деревянной шайки. Мендель был человек рыжий, и белое тело его все покрывали веснушки.

Так вернулся Мендель к своей жене и детям, и поселок, как бы ни злословил ранее в его адрес, как бы ранее ни обзывал, но возвращение встретил одобрительно.

— Какой ни есть, а муж законный.

Может, из двух зол выбрали меньшее. Слишком уж разозлила и напугала поселок связь Ульяны с Мамонтовыми. Об этой связи быстро Менделю донесли, и он решительно стал на сторону поселка против Мамонтовых. Наверно, и ревность свою роль сыграла, потому что уж наговорили с полный короб. Пошел Мендель в фабком, на работу устраиваться, идет по улице Красных Зорь, ему с разных сторон:

— Здравствуй, Миша.

— С приездом, Мендель Моисеевич.

Бабушка Саввишна Котова встретила.

— Ты, Миша, то... это... Ты молоду жену более без присмотра не оставляй. Тут кобельков хватает... то... это... В черничник не зайдешь, старух лапают, а уж молоду и подавно... то... это... — И рассказала, как Ульяна к Мамонтовым ходила.

— Как, Уля, такое понимать? — спрашивает Мендель.

— Понимай, Миша, как понимается.

— А понимается так, что напрасно я приехал. Прав был мой старший брат Ося, недаром он доцент-историк. Прав был мой брат Ося, который сказал мне: Мендель, ты делаешь роковую ошибку. Права была моя мама, которая сказала мне: на мои похороны не приезжай и за моим гробом не иди, потому что буду проклинать из гроба.

— Ты, Миша, хотя бы при детях такие слова не говори, — отвечает Ульяна. — Ты поселковых не слушай, они и на тебя знаешь, что плели? Мамонтовы — люди хорошие, деликатные, ученые, они многому научить могут.

— И чему ж тебя это Мамонтов учил? Приставал к тебе?

— Это здесь, в поселке, да в черничнике пристают, и, может, там, на родине твоей, такие же уличные

пристают. Анатолий Федорович имел серьезные намерения насчет меня. Но я ж тебя люблю, Менделечек мой. Я туда давно уж ходить перестала.

И обняла Менделя, размякла, и размяк Мендель. Однако против Мамонтовых не остыл.

— Пусть Тоня тоже туда не ходит. В поселке говорят, они детям вред могут причинить. Уколы какие-то детям делают.

— Какие еще уколы? Лают это поселковые, а ветер носит. Он Тоне книжки давал с картинками. Ей же скоро в школу.

— Пусть книжки в библиотеке берет. У нас на мочально-рогожной фабрике в клубе библиотека большая. Не ходи туда больше, Тоня.

— Не пойдет она, — соглашается Ульяна, — раз отец запрещает — не пойдет.

Уж очень ей хотелось с мужем поладить. Соскучилась по нему и все не могла привыкнуть, что муж у нее, как и у всех, и ничего в том особенного нет: живет в доме, ест да пьет, ходит на работу, когда дети заснут, то побалуует с полчаса — и спать до утра. Все ей чего-то особенное в муже своем виделось. А раз виделось, значит, и было это особенное. И жить хотелось по-особенному, тем более деньги в доме завелись, как Мендель на мочально-рогожную фабрику вернулся. За время отсутствия Менделя дом пообносился, пообнищал, надо было сызнова достаток добывать. Мендель работал смену шофером и еще полсмены слесарем. Однако Ульяне велел со своей работы уволиться и более вагоны не мыть.

— Хватит тебе надрываться. Ты лучше дома по хозяйству хлопочи и за ребятами следи.

Трех-четырёх месяцев не минуло — окреп дом, приделся, отъелся. Ульяна была хозяйка хорошая,стряпуха неплохая. И времена чуть лучше стали, кое-что

в продуктивном появилось, кое-что в промтоварном. Хлеб всегда уж купить можно было, колбасу чайную, с яичками куриными стало полегче и даже с маслом сливочным.

— Давай, — говорит Ульяна Менделю, — вторую свадьбу устроим, поскольку у нас с тобой вторая жизнь началась, и должна она быть лучше первой. Тем более общий достаток увеличился и народ повеселел.

А это были первые месяцы после смерти Сталина, и кое-что еще к лучшему менялось. Дедушка Козлов, к примеру, на Маленкова сильно надеялся, который “в Бога верует православного и для народа православного истинно коммунистическую жизнь собирається устроить”.

— Попляшем, — говорит Ульяна, — да и попоем, раз такое дело. И выпить можно по такому случаю.

— Согласен, — отвечает Мендель.

И сыграли Ульяна с Менделем вторую свадьбу, собрался народ поселковый, все разодетые, все веселые да певучие. И тетя Вера с дядей Никитой на свадьбу приехали. Ульяна напекла, наварила, насолила, выпивки накупила. Лица у всех красные, как праздничные флаги. Все веселы, один лишь дедушка Козлов от выпивки помрачнел и громко начал какую-то историю рассказывать.

— Он мне кричит: разойдись отсюда! Я ему: ах ты, смердячий рот! За такие вещи, говорю, не в морду бьют, а в висок.

— Ладно тебе, дед, — говорит дядя Никита, — ладно настроение портить... Жизнь пошла веселая. — И запел: — Я другой такой страны не знаю, где так долго дышит человек...

Дядя Никита если запоет, то обязательно хоть слово, да вставит не то. В спортивном марше пел не “закаляйся, как сталь”, а “напрягайся, как сталь”. Мен-

дель же умышленно слова коверкал, шутки ради: “Две гитары за стеной жалобно заняли, кто-то свистнул патефон, милый мой, не ты ли?..”

Тут тетя Вера, в свою очередь тоже выпившая, заявляет:

– Подсладить бы...

И сразу несколько догадливых голосов с разных сторон:

– Горько!

Припала Ульяна губами к губам Менделя — не оторвешь.

– Будя, — кричат, — задавишь!

А дедушка Козлов ладони у рта сложил лодочкой.

– Брысь! — кричит.

Отпустила Ульяна Менделя, сняла с гвоздика отцовскую балалаечку, и начался общий свадебный перепляс с припевками. Уж кто как мог, так и плясал, а уж пел — кто в каком голосе. Даже бабушка Саввишна Котова запела, а дедушка Козлов говорит:

– Голосина как волосина. Так тонка.

Жердочка еловая, досточка сосновая.

По той жердочке никто не хаживал.

Перешел наш Мендель-свет.

Перевел Ульянушку...

Напоминаем, в народных песнях переход по жердочке-досточке через реку всегда означал любовь. Хоть и без песни всем было понятно, что Ульяна да Мендель — это любовь. Поздней ночью, когда уж всё утомнилось, все разошлись и легли Ульяна с Менделем в лунном полусвете, спросила Ульяна:

– Менделечек, не боязно тебе, что у меня родинка слева?